*Любимая, что ж ты не рада?..*
Борис Корнилов

Мальчишки совсем распоясались: мутузили друг друга портфелями, задирали девчонок, горланили обидные дразнилки, прыгали зазевавшемуся на закорки и носились, словно угорелые между партами. Они, похоже, не боялись даже Сталина, сурово смотревшего на всё это безобразие с портрета над классной доской. Понятное дело, что уж на Алевтину Петровну, вошедшую в класс и остолбеневшую от этого «побоища», вообще не обратили внимания. Звонка, разумеется, тоже никто не слышал. И только после того, как Алевтина Петровна несколько раз с силой ударила ладонью по столу, а потом, для пущего эффекта, ещё и указкой, ребята, наконец, заметили её и стали рассаживаться по местам.

– Ну что, угомонились, вредители? – спросила она строго.

Но даже и после этого продолжалось ещё какое-то непонятное ёрзанье: то тут, то там раздавались приглушённые смешки, вылетали озорные словечки, кто-то кому-то показывал кулак из-под парты, кто-то строил рожи, кто-то, запустив шарик жеваной бумаги, тут же делал вид, что прилежно пишет в тетради, а двое верзил «на камчатке» – Острошапкин и Егоров – вообще, никого не стесняясь, продолжали месить друг друга по бритым головам то учебником, то линейкой, а то и просто кулаками.

– Да что же это такое! – возмутилась Алевтина Петровна, обернувшись от доски, где каллиграфическим почерком уже выводила тему урока. – Успокоитесь вы или нет! Мне что, за директором идти? – и звонко притопнула каблучком, от чего несколько прядок аккуратно уложенных волос выбились у неё из-под заколки и непослушно упали поперёк лба, придавая лицу вид отчаянный и даже героический.

Алевтина Петровна была молода и миловидна, и дети её не боялись, хотя и любили. Постепенно класс угомонился и дружно заскрипел

стальными перьями. Только одна девочка, словно подбитый галчонок, всё ещё хлопотала у себя за партой, видимо пытаясь что-то отыскать, с подозрением поглядывая на одноклассников. Некоторое время Алевтина Петровна, хотя и слышала за спиной какое-то копошение, старалась не обращать на него внимания, продолжая диктовать и выписывать на доске примеры из учебника, но в конце концов не выдержала и, обернувшись, спросила почти с досадой:

– Галя, ну что опять? Ты что-то потеряла?

Галка, нескладная и угловатая девчонка, поднялась из-за парты и молча уставилась в пол.

– Ну? Что такое? – спросила Алевтина Петровна, подходя ближе и пытаясь заглянуть ей в лицо.

Галка шмыгнула носом и вдруг выпалила, указывая на свою же соседку по парте:

– Это Нинка взяла! Пусть отдаст!

Оказалось, пропала чернильница-непроливайка.

– Галя, Нина, ну что за глупости! – почти взмолилась Алевтина Петровна.

Галкино подозрение и правда было настолько смешным и нелепым, что всем показалось, будто даже у Сталина на портрете брови от удивления поползли вверх, а Нинка даже не сказала ей «дуры», а только захлопала глазищами сначала на неё, а потом на Алевтину Петровну, будто говоря: «Нет, ну вы посмотрите на неё, вот не дура ли?» Нинка, конечно, была непоседа, сорока и уж точно не тихоня, но такие пакости делали только мальчишки: спрятать чернильницу или тетрадку, или закинуть портфель куда-нибудь повыше, на шкаф, а потом потешаться над товарищем, который, даже взобравшись на стул или парту, не может до него дотянуться. Но они же сами себя всегда и выдавали, потому что не могли усидеть спокойно, а сразу, как только пропажа была замечена, начинали прыскать от смеха: сначала в кулак, а потом уж во весь голос. Теперь же они сидели смирно, с интересом наблюдая, чем всё закончится. Даже Острошапкин с Егоровым, которые всё это время у себя на камчатке продолжали время от времени обмениваться тумаками под партой, затихли и глазели на Нинку и Галку. В общем, было очевидно: мальчишки тут тоже не причём.

– Вот, возьми, – Алевтина Петровна протянула Галке перьевую ручку. – А чернильницы вам пока и одной хватит, и не срывайте нам урок.

– Нет, пусть отдаст, отдаст, отдаст! – не сдавалась Галка.

– Галя! – Алевтина Петровна даже притопнула на неё от неожиданности, но на Галку это не произвело никакого впечатления, а по классу опять то тут, то там покатились озорные смешки, где потише, а где и погромче, булькая, словно пузырьки в готовом закипеть чугунке, и Алевтина Петровна поняла, что класс, который она только что с таким трудом успокоила, снова готов «пуститься в пляс».

– Да точно Нинка взяла, – уже подначивали, смеясь, мальчишки, которым всякая девчоночья ссора всегда интереснее любого кино.

Алевтина Петровна догадывалась, что дети её любят, но также она знала, что, похоже, её не воспринимают всерьёз, по-настоящему, как например директора или завуча или других учителей, которые старше её годами. Проще говоря – не боятся и слушаются через раз. Или, как она однажды, набравшись смелости, призналась самой себе – не уважают. Совсем. Она была для детей – вот радость-то – почти *своя* . И это её странным образом принижало в собственных глазах и доставляло

беспокойство. «Авторитет надо завоёвывать!» – наставляли её старшие, застёгнутые на все пуговицы, словно в мундиры, коллеги, и она почему-то им верила. Может быть, потому, что ещё недавно и сама сидела за партой в этих же классах и была не Алевтиной Петровной, а просто Алей, и многих своих бывших учителей, теперь ставших её коллегами, ещё по старой памяти робела. Да и шутка ли: здесь, в деревне – пусть и большой, в несколько улиц и с железнодорожной станцией, – но всё же деревне, где все друг друга знают, все у всех на виду и почти все в разной степени родня, а тебя ещё помнят девчонкой, а ученики твои – ненамного младше тебя и твои же младшие братья и сёстры сидят с ними за одними партами – поди, завоюй его, этот авторитет. И вот теперь будто заволокло, будто какой-то чёрт смутил Алевтину Петровну, и она вдруг решила, что это ничтожное происшествие с пропажей чернильницы, этот бестолковый пустяк и есть тот случай, когда можно «завоевать авторитет», показать детям, что они ей не ровня, что она и умнее, и взрослее, и дальновиднее их. Алевтина Петровна даже застегнула верхнюю пуговичку на воротничке, хотя она и была туговата.

А и правда: с чего Галка взяла, что это Нинка над ней подшутила и украла – она так и сказала – украла – эту чернильницу?

Нас утро встречает прохладой…

– вдруг донеслось с улицы далёкое и нестройное хоровое пение, то нарастая, то снова стихая, словно шелест молодой майской листвы от неровного ветра – старшеклассники разучивали к выпускному вечеру «Песню о встречном», музыка Шостаковича, слова – народные. И действительно, потянуло из окна утренней майской прохладой и свежестью, и тоже захотелось туда, к ним, в дружный хор, а не разбираться здесь с этими глупостями.

– Это Нинка украла! Пусть отдаст! – стояла на своём Галка, собираясь уже зареветь.

– Ты дура! – не выдержала на этот раз Нинка. – Кому она нужна? Сама задевала куда-то, растяпа, а на других сваливаешь! – и показала язык.

Любимая, что ж ты не рада…

– снова донеслось с улицы, причём особенно старался один ветреный тенор, который явно хотел уже казаться солидным басом или уж, во всяком случае, домовитым и основательным баритоном: потому что ведь и школу заканчиваем, и в армию через год, а тенор, уж не говоря фальцет – «нашему солдату не к лицу». И хотя Алевтина Петровна ещё не вела уроков в старших классах, она сразу же узнала голос Шурки Турлаева, которого помнила ещё совсем мальчишкой, таким же чумазым лягушонком, как и все, но который за последние три-четыре года удивительно возмужал, так, что она сначала и не признала его, когда недавно вернулась сюда после учёбы, и превратился, и правда, в красивого, статного и даже завидного парня. Последнее время он что-то осмелел, хотя робким никогда и не был, и стал на неё заглядываться, а недавно Алевтина Петровна, забывшись, в ответ на его «здравствуйте» неосторожно улыбнулась ему как-то особенно тепло и приветливо, и теперь он и вовсе обнаглел: вообразил, что она по нему «сохнет», и всякое время старался попадаться ей на глаза. А вчера охамел настоль-

ко, что на перемене, в коридоре, даже подмигнул ей. И теперь, узнав Шуркин голос – он, зараза, особенно громко выпевал эту *любимую,* – Алевтина Петровна с ужасом поняла, что у неё горят щёки, что она, наверное, сейчас вся красная, что твой пионерский галстук, – вон даже перед глазами словно какой-то алый туман появился – и испугалась, что вдруг дети всё это заметят и о чём-нибудь догадаются, да ещё и напридумывают, чего и не было… Что ей, в другую школу переводиться? Так нет здесь других школ – не в городе.

– Нет, ты украла! – не унималась Галка.

Все снова посмотрели на Алевтину Петровну, и она почувствовала, что уже не на шутку сердится на них за всю эту глупую историю, а больше всего за то, что они все пялятся на неё, как на комсомольском собрании.

– Что ж, это вполне возможно, – сказала она вдруг, начиная уже и правда сердиться, и даже не заметила с каким теперь удивлением все, а особенно Нина, посмотрели на неё.

Весёлому пенью…

Алевтина Петровна обернулась, подошла к окну, со звоном захлопнула его на полуслове, так резко, что стёкла в рамах задрожали, словно извиняясь, что не разбились, – и снова повернулась к ребятам. Алый туман рассеялся.

– Что ж, это вполне возможно, – повторила она теперь совсем хладнокровно и несколько неожиданно для себя, но совершенно будничным тоном, каким обычно ругают ученика за не подготовленный урок и, выждав многозначительную паузу, прежде чем объяснить, почему же это вполне возможно, строго посмотрела сначала на остальной класс, потом на Нинку и вдруг на мгновение и себя увидела со стороны, словно в кино, и даже невольно залюбовалась сама собой и, хотя немного и испугалась того, что собиралась сказать дальше, но уже почему-то не могла остановиться – так была хороша – и потом, словно кто-то завладел её волей и говорил уже за неё, придавая её голосу и ледяную взрослую серьёзность, и рассудительность, отчитывая Нинку уже не за детскую шалость, а за какой-то вовсе непоправимый проступок, пусть и не ею совершённый, но тень от которого падает и на неё, и за эту тень должна теперь она постоянно чувствовать вину и стыд, и тень эта, хотя это даже и не тень, а тень тени и, в сущности, всё, что осталось от её отца, в общем-то, и является неопровержимым доказательством того, что это именно она взяла Галкину чернильницу.

Пока Алевтина Петровна – такая строгая, молодая, красивая и гордая – говорила всё это, невольно снова и снова любуясь собой, словно и правда смотрела на себя в кино, и думая, что вот если бы и Шурка сейчас это кино видел, и даже воображая, с каким восхищением он смотрел бы на неё, она вдруг с удивлением поймала себя на мимолётной мысли, что на самом-то деле она, или вернее вот та, которая в кино, хотя и говорит и рассуждает так по-взрослому и по-умному, просто глупая и сопливая девчонка, даже глупее Нинки или Галки. А на самом деле ей почему-то очень страшно, и что больше всего ей сейчас хочется зажмуриться и убежать из класса и спрятаться где-нибудь на чердаке, а лучше в погребе, чтобы долго-долго никто не нашёл и чтобы можно было зареветь там во весь голос и реветь, реветь, реветь, пока всё это не пройдёт или не забудется как-нибудь само собой. А потом обязательно

будет гроза, а за ней – проливной дождь, тёплый и щедрый, может быть дня на три – и хорошо бы выбежать в поле и кружиться под этим дождём, босиком, в одном летнем платьице, кружиться и кружиться, как будто ничего не было, не было, не было… Но та, другая Алевтина Петровна, которая была «в кино», всё равно продолжала говорить и до неё было не докричаться, и казалось, что между ней и девчонкой под дождём нет и не может быть ничего общего. Непослушные волосы, выбившиеся из-под заколки, уже лезли в глаза и, смахнув их со лба, Алевтина Петровна прогнала и эти глупые мысли, и постыдную эту слабость, взяла себя в руки и всё-таки договорила то, что начала, таким же ледяным и не дрогнувшим голосом, хотя последнее слово, обращённое к Нинке – позор! – и отозвалось в её голове глуховатым вороньим эхом – позор, позор, позор – словно упрёк самой себе – и осело на сердце свинцовым инеем, а на языке едва уловимым сладковатым и гнилостным привкусом.

В первую секунду, когда будто зажгли в кинозале свет после сеанса, она всё-таки пожалела о сказанном и даже закусила едва не до крови губу, но потом, заметив, как после этих её слов затих, вернее, затаился класс, Алевтина Петровна подумала, что она достигла цели, что теперь-то и её будут бояться, теперь-то и на её уроках будет железная дисциплина и не придётся уже пугать директором, чтобы добиться тишины. Это её немного успокоило. Кажется, довольная собой и едва заметно улыбаясь маленькой своей победе над этими «башибузуками», Алевтина Петровна ещё раз строго посмотрела на класс, расстегнула тугую верхнюю пуговицу на воротничке и продолжила урок. Но странное дело: ощущение какой-то непоправимой глупости и даже подлости случившегося стало исподволь завладевать ею всё сильнее и сильнее. Мел в руках непослушно крошился. Доска предательски скрипела и стряхивала с себя кривые и убогие буквы, а из вновь окутавшего Алевтину Петровну алого тумана выплыл Шурка Турлаев и, оглядываясь, чтобы, наверное, никто не услышал, испуганно прошептал: «Так, а чернильница-то где же?» Поняв, что с мелом и доской ей сейчас не справиться, и чтобы отделаться от дурацких Шуркиных вопросов, Алевтина Петровна вернулась за стол и попробовала почитать из учебника, но хотя это были безобиднейшие хрестоматийные стихи о весне, она почувствовала себя так, словно рассказывает детям что-то стыдное про себя, о чём и сама не хотела бы помнить и чему и сама не хотела бы верить. Постепенно ей снова стало так нехорошо и страшно, что она уже боялась посмотреть на ребят и, продолжая говорить, глядела куда-то поверх голов, и взгляд её уперся в огромную географическую карту, висевшую на противоположной стене, и теперь бессмысленно бродил где-то по Сибири, от одной реки до другой, забираясь всё дальше и дальше на восток: Обь, Енисей, Иртыш, Ангара, Вилюй, Алдан, Лена, Анадырь... И хотя она, например, прекрасно видела, что Нина молча собрала портфель и тихо вышла из класса, у неё не хватило духу остановить её.

– Ой, вот она, – пискнула Галка, доставая мешочек с чернильницей из внутреннего ящичка в парте, куда сама же её и спрятала, чтобы бесившиеся на перемене мальчишки не смахнули её ненароком, а потом задвинула портфелем да и забыла.

– Вот дура! – прошипел с задней парты Острошапкин и треснул Егорову по загривку, как будто это он виноват, что Галка такая дура. А Егоров почему-то не обиделся на него, а, наоборот, состроил Галке рожу и высунул язык, когда она обернулась к ним.

– Всё равно это она спрятала, – сказала им Галка, но как-то неуверенно.

– Всё равно – дура! – передразнил Егоров и снова сотворил ей рожу, на этот раз такую злобную, что Галке даже захотелось заплакать.

Алевтина Петровна хотела на них прикрикнуть, но вдруг, поймав на себе ехидные взгляды мальчишек – или ей только показалось? – почувствовала себя так, будто это её, а не Галку, обозвали дурой и будто это ей строили рожи и показывали язык. От этого она совсем растерялась. Ей стало душно, и даже как будто затошнило.

Алевтина Петровна поднялась из-за стола, подошла к окну и снова растворила его. Страницы классного журнала, оставленного на столе, сразу затрепетали и стали перелистываться куда-то в далёкое будущее, где ещё не были заполнены и где, вероятно, вся это глупая история будет забыта и всё как-нибудь уладится. Алевтина Петровна подумала, что, конечно, сморозила глупость, что, конечно, не стоило этого говорить даже и в том случае, если бы Нинка и правда спрятала эту чернильницу, и что если бы сейчас ей предложили исправить эту ошибку, но взамен ребята насочиняют бог весть что про неё и про Шурку и будут смеяться у неё за спиной, она бы выбрала – пусть сочиняют. Ей даже было непонятно, почему она раньше так этого боялась: всё это, наверняка, было бы безобидно и смешно, и, конечно, никто никогда бы не поверил. А теперь? Что теперь? Страшно даже и подумать, что будет теперь? Надо всё это перетерпеть и забыть. А что она завтра скажет Нине, как войдёт в класс, а что теперь делать? С каким лицом обернуться к ребятам? Не выпрыгивать же в окошко…

Нас утро встречает прохладой,
нас ветром встречает река …

– снова донеслись с улицы весёлые молодые голоса. Репетиция не прошла даром: на этот раз хор звучал стройно и слаженно, никто никого не старался перекричать, никто не фальшивил, и было слышно, что ребятам и самим нравится, что у них так здорово и задорно получается.

Алевтина Петровна вспомнила себя, вспомнила, что и они на окончание школы разучивали эту же песню и так же репетировали на улице, а потом весело маршировали вокруг школы: они уже совсем взрослые, поэтому можно петь про «любимую », они вступают во «взрослую трудовую жизнь», поэтому в песне поётся про «весёлое пенье гудка». Словом, очень подходящая песня для выпускных! Но, кажется, тогда у неё был автор. С именем и фамилией. А теперь, вот уже два или три года, если эту песню передают по радио, то диктор объявляет: «слова народные». И поначалу о чём-то таком шептались, а потом забыли: ну народные и народные. И Алевтина Петровна и сама сомневалась, правильно ли она помнит, не путает ли? Может, и правда – народные, и не было никогда никакого автора – ни с именем, ни с фамилией. Да и впрямь, ведь такие простые слова, что в них особенного? Выйди майским утром на берег реки и подует тебе в лицо холодный и свежий ветер. Или ведь правда, бывает, что станет почему-то грустно, даже и непонятно почему – вроде всё хорошо – и день солнечный, как сегодня, и молодость и вся жизнь впереди, а грустно. Почему? И что может быть естественнее и проще, чем сказать в такую минуту своей девушке: «Любимая, что ж ты не рада?» И зачем нужен кто-то с именем и фамилией, чтобы специально это придумывать?

Алевтина Петровна отвлеклась, и теперь ей подумалось, что, может быть, ничего страшного и не случилось, что Нинка ещё глупая, ничего не понимает и скоро всё позабудет. Зря она, конечно, попрекнула её отцом, тем более ничего толком и неизвестно: просто приехали, вызвали в сельсовет и увезли, и три года уже – ни слуху, ни духу. Слов нет, нехорошо вышло, не подумала, но что же ей теперь – удавиться?

Ветер переменился, и Алевтина Петровна почувствовала едва уловимый запах табачного дыма: двое ребят, под шумок, отбились от хора и, спрятавшись прямо здесь под окнами за разлапистыми кустами сирени, тайком курили одну папироску на двоих.

– Да с чего ты взял? Может, и не было никакого мужа? – послышался знакомый голос.

– Говорят же тебе – был, – ответил второй. – Правда, недолго.

– Куда же он подевался?

Второй презрительно хмыкнул, сплюнул сквозь зубы и процедил злым шёпотом:

– А куда все деваются?

Первый молчал.

– А она сюда вернулась, к своим. Только не одна, – ухмыльнулся второй.

– А с кем? – удивился первый.

– Ты совсем дурак? – второй от изумления даже забыл про шёпот и заговорил во весь голос. – Не видно ещё просто. Рано.

Первый опять замолчал. Было слышно, как зашипела папироска, когда он затянулся.

– Не лез бы ты к ней, Шурик, – снова зашептал второй. – Нашёл тоже, кому глазки строить. Вражине.

– Сам ты вражина, – огрызнулся Шурка. – Она-то тут при чём. Она красивая, добрая.

– Ой дурак, ой дурак, – сокрушённо закачал головой второй. – Ты или умом тронулся, или словно в тумане каком?

– В алом. Знаешь, алый такой туман. – сказал Шурка. – Как будто утром, над Керженцем, когда заря ещё только занимается.

– Амба, точно ку-ку… – безнадёжно махнул рукой второй.

Но ещё раньше, где-то в утробе школьных коридоров, родился и покатился по школе звонок и, обрастая по пути радостными детскими голосами, заполнил собой все классы. И Алевтина Петровна уже не услышала ни этой «амбы», ни «алого тумана», ни про зарю над Керженцем.